



Дом Буэндиа

(наброски к роману)

В доме свежо, влажно по ночам, даже летом. Он стоит на севере, в конце единственной улицы селения, на высоком, крепком бетонном фундаменте. Крыльцо приподнятое, лестницы нет; видно сразу, что в просторной зале мало мебели; два окна от пола до потолка выходят на улицу — вот единственное, что выделяет этот дом среди прочих домов селения. Никто не припомнит, чтобы двери в течение дня бывали закрыты. Никто не припомнит, чтобы четыре плетеных кресла-качалки стояли в других местах или в другом положении: они расставлены квадратом, посередине залы, утратив, кажется, способность предоставлять отдых и став теперь простым, бесполезным украшением. Теперь в углу стоит граммофон, рядом с увечной девочкой. Но раньше, в первые годы века, дом был тихим, скорбным; возможно, самым тихим и скорбным в селении, с этой огромной залой, занятой лишь четырьмя [...] (теперь над шкафчиком для кувшинов — фильтровальный камень, замшелый) в углу, противоположном тому, где сидит девочка.

По одну и другую сторону от двери, ведущей в единственную спальню, висят два старинных портрета, перетянутых траурной лентой. Сам воздух в зале несет в себе некую суровость, холодную, но элементарную и здоровую, как узелок с подвенечным платьем, что раскачива-

ется над дверью в спальню, или сухая ветка алоэ, украшающая изнутри входную дверь.

Когда Аурелиано Буэндия вернулся в селение, гражданская война уже закончилась. От тяжелого паломничества новоиспеченному полковнику вроде бы ничего не досталось. Разве что военное звание и смутное, неосознанное чувство беды. Но также и половина смерти последнего Буэндия, и полный голодный паек. Еще тоска по домашнему быту и желание иметь жилище спокойное, мирное, без войны, чтобы через высоко поднятое крыльцо проникало солнце, а в патио висел гамак между двух столбов.

В селении, где находился дом предков, полковник и его супруга нашли только пеньки от сожженных дотла столбов и высокую насыпь, чисто выметенную изо дня в день дуящими ветрами. Никто не узнал бы места, где раньше стоял дом. «Так было светло, так чисто», — молвил полковник, припоминая. Но среди пепелища, там, где раньше был задний двор, все еще зеленел миндаль, словно воскресший Христос среди обломков, рядом с деревянным домиком отхожего места. С одной стороны дерево было тем же, что затеняло двор старых Буэндия. Но с другой, с той, что была обращена к дому, простирались траурные ветви, обугленные, будто половина миндаля жила в осени, а другая половина — в весне. Полковник припоминал разрушенный дом. Припоминал ясный свет, беспорядочную музыку, сотворенную из излишков всех тех звуков, которые переполняли его, выплескиваясь наружу. Но припоминал также резкий, пронзительный запах нужника подле миндаля и внутренность каморки, насыщенной глубокой тишиной, разделенной на полосы древесной тенью. Среди обломков, разгребая мусор, донья Соледад нашла гипсового святого Рафаила со сломанным крылом и резервуар от лампы.

Там они и построили дом, лицом на закат, в направлении, противоположном тому, какое имел дом Буэндиа, погибших на войне.

Строительство началось, едва прекратились дожди, без подготовки, без заранее обговоренного порядка. В яму, куда будет вкопан первый столб, сунули, не церемонясь, гипсового святого Рафаила. Возможно, полковник ни о чем таком не думал, когда чертил план на земле, но подле миндаля, там, где стоял нужник, в воздухе задержалась та же плотная свежесть, какая была на этом месте, когда там был задний двор. Стало быть, когда выкопали четыре ямы и сказали: «Таким вот и будет дом, с просторной залой, чтобы дети играли», лучшее уже проявило себя. Будто бы люди, снявшие мерку с воздуха, начертали границы дома в точности там, где заканчивалась тишина двора. Ибо когда поднялись четыре столба, огороженное пространство стало уже чистым и влажным, как сегодняшний дом. Он включил, заключил внутри себя свежесть дерева и глубокую таинственную тишину отхожего места. Снаружи осталось селение, его жара и шум. И через три месяца, когда воздвигли крышу, когда побелили стены и навесили двери, внутри дома осталось — до сих пор остается — что-то от двора.



ДОЧЬ ПОЛКОВНИКА

(наброски к роману)

В церкви был стул, предназначенный для полковника Аурелиано Буэндиа, за последними скамьями, прямо под хорами. Рядом со стулом — свободное место, куда маленькая Ремедиос клала подушечку для преклонения колен. Полковник сидел на стуле только во время проповеди. В первое воскресенье Ремедиос не знала, что ей делать, когда отец уселся. Она все время простояла, не двигаясь, ноги затекли, и разболелись коленки. Потом, когда священник спустился с кафедры, полковник встал, и девочка уже не чувствовала ни тяжести в ногах, ни боли — не потому, что сдвинулась с места, а потому, что, когда священник умолк и отец встал, девочка подумала, что месса кончилась. Во время следующих месс Ремедиос уже знала, хотя ни о чем не спрашивала, что, пока читается проповедь, ей следует садиться на ближайшую скамью, но подушечку убирать не надо.

В те дни в ее сознание начинала проникать реальность селения, Ремедиос начинала понимать, почему должна жить в доме, который то и дело посещал страх. В школе она научилась шить. Научилась делать украшения для одежды и, наверное, начинала верить, что это и есть жизнь, пока не закончился год, еще до того, как ее сестренка научилась держаться на ногах. На следующий год она не вернулась в школу. Ремедиос сама не знала

почему, но четыре года спустя вспоминала, что на каникулах ходила в церковь с женщинами, а с отцом за все четыре года ни разу не заговорила и не посмотрела ему в глаза.

С женщинами она сидела на ближней скамье, перед священником. Тогда она и услышала впервые церковное пение. Ремедиос не удивилась тому, что пришлось поменять место в храме. Возможно, в ее возрасте она и не задумывалась над тем, что означает другая компания во время мессы. Но впервые услышав пение, она испугалась: смутилась. Архангел Гавриил с воздетой рукой и сложенными крыльями тоже, наверное, услышал голоса певцов, ибо Ремедиос увидела, как его туника покрывает собой все пространство музыки, и увидела, как складки туники шевелит легчайший бриз — вырвавшийся из плена совершенный ветер нового творения. Она только знает, что обернулась (музыка звучала за ее спиной) и не увидела певцов, зато в конце центрального придела увидела отца, стоящего навтыяжку рядом с пустым местом, где целый год лежала ее подушечка. И увидела в отце всего лишь человека, такого трогательного, одинокого и покинутого, в конце придела. Только тогда ей захотелось стоять там, рядом с отцом, чувствуя, как немеют колени.

Может быть, Ремедиос не помнит, что тогда она во второй раз взглянула на отца, и лицо его уже не показалось птичьим, оно было точно таким, каким она хотела его видеть на протяжении долгих лет, когда полковник восседал во главе стола.

Внезапно мир отца для нее прояснился. Будто голоса певцов раздвинули завесу, которая всю ее жизнь находилась между ней и отцом. Тогда она поняла, почему отец никогда не заговаривал с ней, и поняла, что отцу не нужно говорить с младшей дочерью, если дочь умеет все

делать вовремя, как следует, точно так, как отец бы того хотел. И поняла, что, когда она шла по воскресеньям на восьмичасовую мессу, держась за руку отца, со стороны он выглядел именно тем, что он есть. Мужчиной, ведущим за руку девочку, с которой не нужно перекидываться словами.

Это случилось в воскресенье. С понедельника Ремедиос начала быстро расти.



СЫН ПОЛКОВНИКА

(наброски к роману)

Тобиас не пришел к девяти. Полковник дожидался его до десяти, но парень пришел раньше. Донья Соледад, разумеется, знала, что после десяти полковник уже не стал бы его дожидаться. Восемь дней он ждал до этого часа, но и в следующую субботу парень не явился, и полковник запер дверь как ни в чем не бывало. Тогда и начались неприятности. Тобиас пришел домой только в среду, когда для него уже не было места за столом. Он поел в патио, рано лег спать и в четверг не выходил из дома. В пятницу тоже не вышел.

В пятницу Тобиас заговорил с домашними. В пятницу сел за стол. Вечером донья Соледад сказала мужу:

— Он раскаялся. Тебе не кажется, что это чудо?

— Господь не творит чудес над пьяницами, — заявил полковник. — Завтра он уйдет и, возможно, не вернется.

Полковник как в воду глядел, поскольку Тобиас вышел в субботу вечером. В доме никто ни словом не обмолвился. Донья Соледад отстранилась, ушла в себя. Ночью несколько раз просыпалась и читала молитву. В следующую среду спросила мужа:

— Ты действительно думаешь, что он не вернется?

Полковник даже головы не поднял.

— Оголодает — вернется, — буркнул он.

В пятницу Тобиас вернулся домой. Прошел через патио прямо на кухню и ел в три горла. Увидев, что он пришел, донья Соледад ничего не сказала, она чувствовала, что всю неделю напролет ждала его. Увидев его в дверях, ничего не сказала, но бросила взгляд на стоящие на столе блюда, оставшиеся от обеда. Все эти дни она кое-что припасала. С тех самых пор, как полковник сказал: «Оголодает — вернется». Парень зашел в кухню, не говоря ни слова, но, видимо, проследил за взглядом доньи Соледад, которая глаз не спускала с блюд, потому что, шатаясь, подошел к столу и пожрал все, будто животное в человеческом обличье, к тому же голодное как собака.

Так продолжалось несколько недель. Полковник вроде бы не замечал, что сын через каждые два или три дня появляется на кухне, где донья Соледад оставляет для него еду. Тобиас проделывал это три недели, до самых праздников. Потом перестал приходить.

В первый день донья Соледад оставила еду, как всегда.

Но парень не пришел. Ночью, запирая кухню, она не загасила очаг, а оставила огонь гореть, чтобы блюда не остыли, думая так: «Если он сегодня ночью проголодается, то учует, что еда здесь. Где бы он ни был, как бы ни было смутно у него на душе, нюх приведет его туда, где он каждый вечер находил еду».

Полковник отступил к столу, запыхавшись, по-прежнему показывая рукой, которая сжимала ремень, на дверь, где Тобиас ежил, схватившись за косяк, всхлипывая от боли и ярости. Донья Соледад бросилась к сыну. Попыталась приподнять ему голову, но парень отмахнулся локтем. Он уткнулся лбом в косяк, яростно кусая губы, в жестокой борьбе с пришедшими в смятение потаенными чувствами. Донья Соледад пыталась его успокоить.

— Сядь сюда, — сказала она. — Отдышись немного здесь, в углу, на скамеечке.

Парень вновь попытался вырваться, поднял на нее взгляд, но не нашел лица женщины там, где предполагал найти, и глаза его воткнулись в пустоту. Тогда он направился в патио, спотыкаясь, будто загнанное животное.

— Уже ухожу, — прорычал он с пеной у рта.

Только тогда мать забеспокоилась, ухватила его за ворот рубашки (изо всех своих малых сил, которых явно не хватало, чтобы удержать огромное тело наказанного животного) и пробормотала сквозь зубы, так, чтобы полковник не услышал:

— Нет, ты не уйдешь. Говорю тебе: не уйдешь.

И вцепилась в него обеими руками.

— По крайней мере, пока не съешь кусок мяса.